

Бабушка сказала:

– Завтра пойдём в церковь на крестный ход. Успение завтра.

Я принял новость без протеста. Успение, подумал я, это, наверное, такое событие, на которое надо успеть, и тогда всё будет хорошо.

В тот день я дал отпор мальчику, который давно мешал мне жить.

Мальчик был на год старше меня, но при этом трусоват. Он долго и тщательно исследовал возможности моего терпения, прежде чем наконец пришёл к выводу, что они безграничны.

Начиналось так: ставит он мне жёсткую подножку во время футбола – я растягиваюсь на земле и решаю, что отомщу ему тем же в ходе игры. Но он теперь нарочно держится подальше от меня. Я же ношусь за мячом как угорелый, и обида вымывается из меня вместе с потом. Он чувствует это и постепенно приближается. Он не делает сразу новую пакость, нет. Наоборот: он смеётся громче остальных над моими шутками,

даже по-дружески кладёт руку мне на плечо. Мне это льстит, я начинаю считать его другом. Но дружба длится недолго. Убедившись в моём доверии, мальчик выжидает секунду, когда я завязываю шнурок, подбегает со спины и бьёт мне что есть силы ногой под зад. Я кувыркаюсь через голову и в гневе вскакиваю – а он уже снова далеко, показывает пальцем и смеётся. Потом опять по новой: осторожное приближение, короткое заискивание, видимость дружбы – и очередная пакость...

Множественно повторяя эту схему, мальчик постепенно ужесточал издевательства, а заискивание день ото дня сводил на нет. И ему удалось приучить меня к своему террору: я сносил пинки, тычки, подзатыльники, подножки, начиная думать, что, наверное, этот мальчик гораздо сильнее меня, раз он себе такое позволяет. А он уже и отбегать перестал. Сделает пакость – и хохочет мне в лицо.

Конечно, меня это угнетало. После очередного и, пожалуй, самого изощрённого издеватель-

ства, – когда он помочился на меня с дерева, – я от души расплакался. Открытая, через край идущая подлость часто обезоруживает, рождая в человеке растерянность и тоску, которые заглушают голос мести. Я не бросился на обидчика. Я убежал к бабушке и дедушке и, заикаясь от слёз, рассказал им обо всём.

Бабушка засобиралась к родителям обидчика, выяснять отношения. Дед остановил её.

– Не надо, бабуля. Ругаться – не Божеское дело.

Бабушка удовлетворённо затихла. Видимо, подумала: «Ага, наконец-то. Может, скоро и сам, старый, соберётся в храм». А дед увёл меня к себе в комнату и там спросил:

– Тебе нравится такое отношение этого мальчика?

– Нет.

– Тогда скажи ему в другой раз: «Знаешь, парень, а я ведь больше не буду терпеть. Если ты снова меня обидишь, я сделаю тебе больно».

– А если он всё равно обидит?

– Тогда нужно сделать больно. Нужно бить.

– Как? Я это не умею.

– А я тебе сейчас объясню.

Дед объяснил мне, что бить лучше всего в челюсть – не раздумывая и без подготовки, но точно. Показал, как верно сжимать кулак, нарисовал ручкой кружок у себя на ладони, и я довольно долго бил в этот кружок основной ударной рукой. Потом даже попробовал освоить «двойки», которые давались сложнее. Впрочем, дед сказал, что, скорее всего, понадобится только один точный удар. Напоследок я спросил деда, вспомнив его недавний прилив религиозности:

– Но разве это Божеское дело?

Дед помедлил с ответом, но всё же не растерялся:

– А как же! Сколько уже этот мальчик на тебе грехов совершил. А стукнешь его по челюсти разок – и перестанет. Будет хорошим мальчиком и станет с тобой дружить. Вот увидишь. Даже на день рожденья тебя позовёт.

Деду я доверял безоговорочно. На следующий день я вышел во двор с готовностью осуществить его план.

Мальчик тут же пронёсся мимо меня и так сильно толкнул плечом, что я не удержал равновесие и упал. Я выполнил первую часть плана – словесное предупреждение. Мальчик отреагировал на него кривой усмешкой, но тут же отдалился от меня на десяток шагов, как делал прежде, а затем даже использовал давно забытые приёмы – медленное приближение и заискивание. Я ощутил дыхание загадочной красоты, заключённой в простоте дедушкиной комбинации. Она уже действовала. С интересом и даже вдохновением я продолжал проводить время на улице, наблюдая за своим угнетателем. Как ни странно, в этот вечер мы с ним снова расстались почти друзьями.

– Н-да. Хитрый, видать, попался товарищ, – рассуждал дедушка, расспросив меня о подробностях сегодняшнего дня, – хитрый и подколотный. Хочет опять нас усыпить. Ты, смотри, не дай ему это сделать.

– Да нет, дедушка, мне кажется, он больше уже не будет.

– Хорошо, если не будет. Но... – дед задумался, а потом поглядел на меня серьёзно. – Но гляди: если ещё раз обидит, уже не предупреждай, а бей.

– Почему?

– Потому что предупредить ты уже предупредил. Если сказал, а не сделал – грош цена твоим словам. Такой закон. Мальчик снова будет тебя мурыжить, и другие будут, и ты уже никогда от этого не отделаешься. Давай-ка повторим одиночный, а потом «двоечку»...

И мы ещё немного позанимались.

На следующий день всё случилось молниеносно. В первую же пятиминутку прогулки мальчик плюнул на мою майку с расстояния нескольких шагов. Заворожённый тем, как спокойно я подхожу к нему, он лишь успел сказать, что хотел плюнуть не на меня, а просто плюнуть, но тут я осуществил вторую часть комбинации. Причём, желая порадовать дедушку, выполнил «двойку». Первый удар прилетел аккуратно в челюсть, а второй угодил в нос. Мальчик упал. Потом медленно поднялся на ноги. Он смотрел то на собственную ладонь, на которую накрапывала кровь, то на меня. В глазах его слились удивление и ужас, будто в ладони он держал не больше ни меньше собственное сердце. Потом он разревелся, как младенец, и убежал домой. Смутно предчувствуя что-то нехорошее, я тоже поспешил к бабушке и дедушке.

Не успел я отчитаться деду в окончательном выполнении его плана, как в квартиру без стука ворвалась мать пострадавшего мальчика. Она потрясала кулаком одной руки, а другой держала за шею самого потерпевшего, который теперь почему-то глядел на мир без скорби, а с ехидным любопытством. Казалось, ему была интересна планировка квартиры, в которой мне сегодня достанется за его разбитый нос.

– Вы что ж это, старичьё, своего гнидённыша на привязи не держите?! – начала мама. – Кинули вам, значит, молодые его на шею, так вы думаете, я вас отвечать не заставлю?! На коленях у меня, хрычьё, ползать будете!

– Ты чего кричишь, Наташа? – тихо вышла из кухни бабушка, уставив кулаки в бока. Она говорила без гнева, но ясно было, что готова в любую минуту сделать какое-нибудь не совсем Божеское дело. Мы с дедом переглянулись, стоя в конце коридора, и дед кивком пригласил меня к себе в комнату.

– Сама разберётся, – сказал он.

Из дедовой комнаты мы слышали голос тёти Наташи, уже далеко не столь грозный. В бабушкиных же репликах возрастали наступательные интонации. Казалось, она вырастала над тётёй Наташей подобно девятому валу. Рассказ про обрисованного внука стал победной точкой.

– Было дело? – спросила бабушка у мальчика. – Что молчишь? Я ведь всё-о видела из окна!

– Было... – промямлил мальчик.

– Вот! Бы-ыло! Так что забирай-ка ты сама своего гнидённыша, – пригвоздила она, – и научи его дома уму-разуму. А то я, чего доброго, сама тебя отвечать заставлю, кошёлка!

Тут уж мы с дедушкой не выдержали и высунулись из комнаты – не провела бы и бабушка тётё Наташе одиночный или «двойку».

Но бабушкина атака была завершена. Раскрасневшаяся мама глядела на своего сына испепеляющим взором. Затем она вышла, так дёрнув его за собой, что он запнулся о порог и, судя по звукам, больно упал в подъезде.

Гости ушли. Мы отправились на кухню пить чай. Дед принялся подшучивать над бабушкой, мол, такая церковница, свечки-платочки, а может при желании разогнать парад на Красной площади. Бабушка не смеялась и не отвечала деду. Она сидела безучастно, не притрагиваясь к чаю и пряникам. Глаза её блестели. В её сердце уже звучал заунывный голос совести.

– Ничего, бабушка, – успокаивал дед. – Отмолишь. Знаю я, что ты не любишь эту поговорку, а всё-таки верно ведь сказано: не погресишь – не покаешься. М? Как ты думаешь?

– Ой, ну что ты понимаешь! – взмолилась бабушка. – Бабку с внуком бес крутит под большой праздник, от причастия уводит, а он – не погресишь, говорит, не покаешься. Ты думаешь, что говоришь-то?

Бабушка довольно сильно постучала себе по голове кулаком, показывая деду всю нелепость его излюбленной поговорки. Но дед был спокоен. Он добился, чего хотел: тяжкое чувство окончательного духовного падения поутихло в бабушке. Поутихло, уступив место практической энергии.

Именно тогда я и узнал, что завтра непременно иду с бабушкой на праздничную службу в честь Успения, да ещё и должен буду исповедаться, чего прежде никогда не делал. Далее мне было поручено сию минуту разыскать

моего прежнего угнетателя и попросить у него прощения, ибо сказано: «прежде причастия – примиришься».

– И маме пускай передаст, что я перед ней извиняюсь за свои слова, – сказала бабушка и почему-то отвесила передо мной низкий поясной поклон.

Я вышел на поиски мальчика, встретил его во дворе, тихого и какого-то женственного, и тут узнал кое-что ещё. Я узнал, что мой дедушка настоящий гений, ведь когда я обронил перед мальчиком своё ничего не значащее «извини» и протянул ему руку, он страдательно улыбнулся и пригласил меня к себе на день рождения. Действительно, это был настоящий дедушкин триумф, вдвойне удивительный тем, что празднество предстояло только в конце осени и с приглашением явно можно было подождать. Я не понимал, почему в человеке, которому проббили «двойку», непременно возникает жажда увидеть на своём дне рождения того, кто его отлупил. Честно говоря, сбывшееся дедово предсказание для меня до сих пор остаётся загадкой.

А в тот день мне осталось только выслушать несколько непонятных молитв, стоя перед иконным уголком в бабушкиной комнате, и лечь спать с мыслью, что завтра надо подняться быстро и послушно, а то ведь можно и не успеть и тогда Успение не состоится.

II

Я и прежде бывал с бабушкой в храме, в который она ходила. Храм был старинный, загородный, вдалеке от высоких домов и шумных улиц. Там я с удовольствием,

хоть и совершенно бездумно, причащался; пожалуй, с ещё большим удовольствием поглощал после этого запивку и кусочки просфоры; мне нравилась необыч-

ная обстановка храма, нравилось, что здесь нужно следить за своим поведением: не бегать, не болтать, не смеяться, – чтобы потом с удвоенной радостью и каким-то особенно полным правом делать это на улице.

Теперь настал у меня возраст исповеди – причащаться, не исповедавшись, было теперь нельзя.

Бабушка велела мне исповедоваться в том, что я стукнул мальчика, и отправила меня к батюшке, придав ускорение незлобным шлепком.

– Ну? – улыбнулся пожилой священник и пригнулся ко мне, когда я подошёл к аналою. От его бороды пахло ладаном и ещё чем-то таким, что, вроде как, не имеет запаха: постом, молитвами, колоколами – по крайней мере, так мне показалось тогда.

– Что расскажешь, брат?

– Мальчика стукнул, – тихонько сказал я.

– Сильно стукнул?

– Да. Даже у него пошла кровь.

– За что же ты его так? – сказал священник с не очень большим сожалением, будто я не побил человека, а дёрнул, например, kota за хвост.

– Он меня постоянно обижал. Пописал на меня с дерева, потом плюнул на меня даже.

– И ты разозлился и стукнул.

– Нет, я не злился. Мне просто дедушка сказал, что надо стукнуть.

– Но ведь бить человека – это плохо, – заметил батюшка и испытующе заглянул мне в глаза. Казалось, ему просто интересно беседовать со мной. – Господь-то, брат, учил не бить. Он говорил: «Ударили по правой щеке – подставь левую».

– Дедушка сказал, что, если я не ударю этого мальчика, он меня

будет всегда обижать и сделает на мне очень много грехов.

Священник коротко посмеялся. Казалось, он сейчас так же спокойно и беззлобно докажет неверность дедушкиного понимания христианства. Но вместо этого он вдруг на секунду погрузился, а потом вздохнул.

– Н-да... Ладно, – сказал он. – Ты только знаешь что, ты помолись сегодня на службе за этого мальчика. Посмотри на икону Богородицы и скажи: «Господи, Царица Небесная, пусть у этого мальчика всё будет хорошо. Пусть он не болеет, пусть родители у него не болеют, пусть он вырастет хорошим». Только от души помолись, по-настоящему. Помолишься?

Я кивнул.

– Ну вот и договорились.

Он положил мне на голову епитрахиль, прошептал надо мной молитву, а потом велел поцеловать крест и Евангелие.

Началась служба. Я, как обычно, вёл себя тихо и благочестиво: крестился, когда все крестились, кланялся, когда все кланялись, – но не ощущал в душе обычного покоя и уюта. Причиной тому был злосчастный мальчик. Мне предстояло помолиться за него. Если бы батюшка разрешил это сделать кое-как, одними словами, так же как я бросил ему своё «извини», то я был бы спокоен. Но сделать это надо было «от души, по-настоящему», и я не знал, как этого добиться. Всё же что-то подсказало мне, что надо вообразить мальчика в ту его минуту, когда он был наиболее жалок. Я стал припоминать такую минуту. Я вспомнил, с каким удивлением и ужасом он глядел на окровавленную ладонь, но это не помогло, потому что тут же перед моим мыслен-

ным взором возник его злорадный взгляд, с которым он чинил мне пакости. Я вспомнил, как злобно увлекла его за собой мама, как он споткнулся о порог и загремел на лестничной клетке под её проклятия. Но тут же выплыло его самодовольное, хоть и опухшее, лицо, когда он только входил вслед за мамой в бабушкину квартиру и с невозмутимым любопытством оглядывался в ней. Мне даже на мгновение захотелось ещё разок стукнуть по этому лицу – какая уж тут молитва. Но тут я вспомнил другое: как он, оскалившись в неестественной улыбке, позвал меня к себе на день рожденья. Не знаю, что так тронуло меня в этом нелепом жесте. Наверное, сама его нелепость. Но я вдруг подумал, что ведь у этого мальчика тоже бывает день рожденья, что он так же ждёт подарков, что родители целуют и обнимают его в этот день.

Тогда я представил картину, свидетелем которой не был. Он стоит с охапкой подарков, так что они чуть не вываливаются у него из рук, почему-то стоит в шортах и белых носках, натянутых почти до колен, глаза его блестят счастьем, и никого он не хочет обписать с дерева в эту минуту, ни на кого не хочет плюнуть. Это был совершенно другой мальчик. Я порадовался за него, взглянул на икону Богородицы с Младенцем и поспешно перекрестился – впервые сам, а не следом за остальными, – чтобы словно припечатать возникшее во мне хорошее чувство крестом. После этого мне снова стало легко: мне показалось, что я выполнил задание батюшки.

Служба прошла быстро и даже как-то весело. Я причастился и, не опуская крестообразно сложенных рук, устремился к запивке. Запив-

ку разливала из чайника кругленькая, как колобок, бабушка с остреньким носиком.

– Руки-то уж опусти – не у чаши, – сказала она просто, без строгости и плеснула в серебряный ковшик из чайника.

Я выпил малинового компотцу с волокнами разваренных ягод, скушал дольку просфоры и попросил добавки.

– Это тебе не конфетки с чаем, – сказала мне маленькая девочка в толстой волосатой кофте и бантами на голове. Кажется, она была внучкой кругленькой бабушки и сейчас в точности воспроизвела слова, которые часто слышала от неё.

– А ты не осуждай, – сказала бабуся-колобок. – Вот возьму и налью ему ещё, чтоб не вылазила.

Я мог бы посмотреть на девочку с торжеством, но не стал: такая она была тоненькая, хрупкая, утопающая в своей кофте крохотной головой с синими жилками на висках, и юбочка у неё была надета поверх толстенных шерстяных штанов. Я попросил бабушку, чтобы она угостила и девочку. Бабушка похвалила меня за доброту, плеснула девочке компотцу и дала просфорки. Мы отошли на шаг и, поглядывая друг на друга, насладились церковным лакомством. Потом девочка взяла меня под руку и повела к подсвечнику, чтобы показать, как она управляется со свечами: огарки вытаскивает, задувает и складывает в специальную коробочку на полу, новенькие, положенные на подсвечник, зажигает от уже горящих, подплавляет снизу и всаживает в углубление, не боясь огня. Иногда благочестиво крестится и кланяется. Я уже и сам готов был попробовать, да она бы, наверное, и разрешила в награ-

ду за мой благородный поступок, – но тут со стороны алтаря донёлся торжественный шум. Понесли на улицу хоругви и иконы. Начинался крестный ход.

Батюшка заметил меня и велел дать мне закреплённый на лёгеньком древке фонарь с горящей внутри свечой. Девочке такого не досталось, и я предложил ей нести фонарь по очереди. Мы пошли рядом.

Пока в храме шла служба, на улице шёл сильный дождь. Теперь весь посёлок был залит солнцем позднего лета – самым нежным и приятным солнцем во всём году. Бабушки умилённо крестились:

– Матушка Богородица улыбнулась солнышком...

Крестный ход предстоял далёкий, почти через весь посёлок, потому что праздник был престольный. Верующие отправились в путь.

На сырой асфальт после дождя повылезали черви – десятки, сот-

ни нежно-розовых червей. Я их обходил и перешагивал, а люди наступали прямо на них, устремив взгляды на хоругви, на небо, на солнце. И батюшка, возглашая: «Пресвятая Богородице, спаси нас», – тоже шёл по червям.

– Смотри, все идут по червякам, – зачем-то сказал я девочке, которой только что передал фонарь. Но девочка не ответила. Даже не поглядев себе под ноги, она побежала вперёд, к голове крестного хода, чтобы сохранить в руках доставшуюся ей драгоценность. Для неё этот фонарь был нелёгкой ношей, но она, кажется, не чувствовала никакой тяжести. Тогда я ясно ощутил, что она – другая. Не уличная, не дворовая, а церковная девочка. И, кажется впервые в жизни, я ощутил одиночество, ощутил себя лишним. Мне стало стыдно, что я пробовал полюбить вредного мальчика по совету священника. Я вспомнил о дедушке и захотел поскорее к нему.

